

Алексей ПОРВИН

БУБОННАЯ САЖА ДЛЯ УГНЕТЁННОГО КОГНИТАРИЯ

Петр Содоловский (Разумов). Чёрная пчела: строки вернувшегося. – М.: Территория Ноль тысяч, 2025. – 222 с.

На первый взгляд, эта поэтическая книга воплощает абстрактную, подчеркнута внеисторическую метафизику, которая выстраивает мир как пространство предельных состояний сознания, оторванное от конкретных социальных и эмпирических координат. Однако за фасадом этого эскапизма и кажущейся отрешенности скрывается жесткая материалистическая база: в книге разворачивается масштабная и пугающе точная картина дезинтеграции человеческого субъекта, при этом стихотворения функционируют как глубокий социальный диагноз, обнажающий механизмы эксплуатации, отчуждения и когнитивного истощения в современном мире. Детальное рассмотрение этой поэтики показывает, что перед нами – беспощадный, исполненный трагизма анализ того, как глобальная биополитическая машина в своём неумолимом разрастании переваривает абсолютно всё – человеческие отношения, культурные коды, языковые структуры, интимные аффекты и даже саму органическую жизнь.

Поэзия Содоловского буквально вторгается на территорию философии Жана Бодрийера¹, прямо декларируя: «Распилен состав / На систему вещей / Циферки, нолики» (с. 82) – здесь материальная и смысловая цельность предстает редуцированной до порядка знаков и бинарного кода симуляции, своеобразно фиксируя переход от классического индустриального производства к семиокапитализму, описанному Франко «Бифо» Берарди², и безошибочно вскрывая экзистенциальную травму, связанную с колонизацией внутреннего пространства субъекта. В мире, где последние зоны автономии субъекта почти ликвидированы, сами природные и жизненные пространства сплюсываются до медийной поверхности, превращаясь в технический оттиск: «Поле давно не гумно, не село / Оно осело офсетом давно» (с. 82). Природа в мире Содоловского подчинена логике машинного производства, где деревья функционируют лишь как винтики в глобальной матрице, а над всем довлеет «магнитное поле» мегамшины³, форматирующее сознание.

Следствием этой тотальной экспансии становится глубокая мутация человеческой чувственности. В этом контексте в «Чёрной пчеле» особенно интересен эмоциональный ландшафт, выстроенный на глубоком внутреннем смещении: чувства в этих стихах больше не принадлежат субъекту, они отчуждены от своего носителя и существуют как автономные, пугающе осязаемые объекты, образуя «постаффективное» состояние современного человека, которое – пусть и в обход декларативного социального пафоса, через тотальную интроспекцию и солипсическую замкнутость субъекта на собственном внутреннем опыте – и исследует книга. Читая эти стихи, мы наблюдаем процесс превращения живого нерва в механизм, а не просто горечь или меланхолию с их убедительными иллюстрациями, при этом поэтический язык здесь высвечивает замену органических переживаний неорганическими, индустриальными конструктами – шестеренками, грузами, пружинами, черпая свою суггестивную силу в богатейшем интертекстуальном архиве и, преломляясь сквозь призму безусловного поэтического чутья, вопреки всему пытается вернуть отчужденному чувству и отчужденному слову их изначальную онтологическую плотность.

¹ См.: Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. – М.: Рудомино, 1999. – 218 с.

² См.: Берарди Ф. Душа за работой: От отчуждения к автономии / Пер. с итал. К. Чекалова. – М.: Грюндриссе, 2019. – 320 с.

³ См.: Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества / Пер. с англ. Т. Азаркович, Б. Скуратов. – М.: Логос, 2001. – 408 с.

Более того, в мире «Чёрной пчелы» органическая чувственность предъявлена как лишенная своей романтической неприкосновенности и подвергнутая законам искусственного дефицита. Ситуация, при которой субъект вынужден получать «по талонам тепло» (с. 77), иллюстрирует предельную стадию эмоционального капитализма, когда само желание утрачивает трансцендентный вектор, редуцируясь к механистическому «корыту желания» (с. 78) – утилитарному, дисциплинарному резервуару для утилизации витальной энергии. В подобной выхолощенной онтологии человеческая воля буквально перемалывается в «фарш» и становится варевом – «варевом воли» (с. 78), что работает как точная метафора тотальной гомогенизации, насильственно лишаящей индивида его уникальной внутренней архитектуры, превращая его в обезличенную, расчлененную биомассу – чистое, стандартизированное сырье, единственный смысл которой заключается в том, чтобы питать бесперебойный цикл тотализирующей мегамашины – аппарата, который симптоматично элиминирован из поэтического регистра. Замкнутое исключительно в продуктах ее функционирования, сознание утрачивает способность к распознаванию самого аппарата, превращая его в когнитивную скотому.

Однако триумф этой системы был бы неполным без окончательной колонизации самых сакральных убежищ субъективности – памяти, утраты и сновидческой реальности. Рыночная матрица неизбежно вторгается в пространство трансцендентного, подвергая безжалостной инвентаризации даже отношение человека к смерти. Особенно ярко логика товарно-денежных отношений, проникшая в самые интимные сферы духа, проявляется в стихотворении «Сон». Память об умершем друге и символические «камешки» (как можно предположить, знаки подлинного переживания) субъект вынужден нести в «комиссионку». Капитал не оставляет пространства для бескорыстной скорби: даже смерть и дружба подвергаются коммодификации, обмениваясь на «деньги и пуговиц несколько» (с. 84).

Книга, как было уже сказано, трагична, но эта трагедия лишена классического катарсиса: она разворачивается в монотонном гуле механизмов, где-то за скобками высказывания методично перемалывающих остатки человечности. Но какую форму эта трагедия обретает на уровне самого субъекта? Прежде всего, она обнаруживает себя в том, что обменная стоимость окончательно вытесняет потребительную стоимость самой человеческой жизни. В результате утрата последних зон, свободных от рыночной логики, герметично запечатывает горизонт будущего. Когда даже смерть и скорбь встраиваются в глобальную цепочку потребления, у субъекта не остается внешней точки опоры, из которой можно было бы бросить вызов системе. Эта тотальная, удушающая замкнутость закономерно подводит поэтику Содоловского к суггестивной, метафорической констатации классического «капиталистического реализма» – состояния глубокого когнитивного паралича и невозможности помыслить альтернативу существующему порядку. Отсюда – клаустрофобичное пространство стихотворений: «И космос – тьма / И земный пуп – / Такая же тюрьма» (с. 74), отсюда же – неизбежная редукция самого языка, который мутирует из инструмента освобождения в замкнутое семиотическое пространство.

Плачевное положение субъекта «Чёрной пчелы» заключается и в том, что его главное орудие – способность генерировать смыслы («моё говорение», «ум значений») – ощущается как безвозвратно отчужденное. Истощение, которое он испытывает, носит глубоко когнитивный характер: рыночная онтология выкачивает из него интеллект и воображение, превращая живую мысль в ту самую «бубонную сажу» и оставляя обесточенный разум наедине с абсолютным смысловым вакуумом. В этом положении субъект закономерно обретает статус угнетённого когнитария: его мыслительная мощь превращена в ресурс системы и более не принадлежит ему самому. Этот угнетённый когнитарий находится внутри тотальной, замкнутой на саму себя структуры, где даже «небо сгибают к земле» (с. 81). Кажется, что никакого внешнего спасительного контура нет: состояние тотальной подконтрольности усиливается фигурой Незримого Наблюдателя («Кто-то за всем наблюдает, как вор»), что отсылает к паноптикуму и дисциплинарной власти.

И всё же, в этой книге огромное пространство отведено любви. Той любви, что выживает на руинах субъектности, в условиях жесточайшего аффективного – и вообще онтологического – голода. В тотализирующей системе координат, с такой болезненностью описываемой в книге, любовь становится точкой радикальной уязвимости – мерцающим системным сбоем, который мегамашина не способна до конца алгоритмизировать. Даже будучи сдавленной безжалостными тисками отчуждения («железный шарик жмет / Любовь, любовь» (с. 14)), она трансформируется в онтологическую брешь. Обладает ли этот аффект подлинным эмансипаторным потенциалом? Может ли он стать тем самым спасительным проблеском, разрывающим контуры дисциплинарного порядка и замкнутости? Кажется, книга Содоловского решительно избегает наивного эскапистского оптимизма: любовь в этих стихах не разрушает стены «земной тюрьмы», как мог бы сделать какой-нибудь супергерой. Скорее, она функционирует через острую боль утраты, через саму невозможность воплотиться в полной мере. Любовь в этой книге – свидетельство того, что процесс механизации человека не завершен. Любовью здесь не предлагается выход из «пыльного котла» – такой ход был бы банальным – но творится свидетельство того, что внутри подобного котла всё ещё бьется плоть – живая, сопротивляющаяся энтропии.

Поэтика Содоловского, однако, не исчерпывается лишь фиксацией социальной катастрофы, замаскированной под метафизическую отрешенность. В стихотворении «Запах масла» (с. 202) мы наблюдаем парадоксальную попытку ускользнуть от тотализирующей системы через (возможно, интуитивный) прорыв к объектно-ориентированной онтологии: «мы сцепили пальцы и держимся на весах / Всех предметов в комнате» (с. 203). Эти строки маркируют фундаментальный сдвиг перспективы: субъект здесь отказывается от антропоцентрического диктата, от иллюзии, что человек является мерой всех вещей, и переходит к так называемой «плоской онтологии» (в терминах Грэма Хармана или Тимоти Мортон), нащупывая принципиальную нередуцируемость нечеловеческого мира, чье безразличное присутствие разрушает вертикаль власти субъекта и конструирует новую, тревожную симметрию между мыслящим «я» и окружающей его немой материальной форм.

Что значит это обретение точки опоры в самом безмолвном, солидарном существовании объектов, когда сцепленные пальцы и «весы всех предметов» образуют единую, неиерархическую сеть взаимосвязей, где человеческое тело и неживая материя (запах масла, комнатная пыль, горный хрусталь⁴) обладают равным онтологическим статусом? Возможно, для измученного, отчужденного субъекта этот уход в таинственную и непроницаемую вещь становится единственно возможной формой сопротивления. Мир объектов оказывается более безопасным и честным убежищем, чем выхолощенный социальный мир людей и коммодифицированный мир языка.

Книга «Чёрная пчела» не предлагает утопического утешения. Напротив, она выполняет важнейшую критическую функцию – с беспощадной ясностью протоколирует «бурелом неба» и распад личности под гнетом неолиберальной машины. Это пространство, где сами потоки жизненной энергии оказываются под вопросом («Не очень понятно / Как движется в теле витальность» (с. 184)), а бытие сводится к холодной каталогизации вещей: «Вещи имеют устойчивость на зрачках» (с. 203). Показывая мир, в котором субъект вынужден прятаться «за шкаф, за кровать», где солнце подменяется «газом» и «бытовым светом под фонарём», поэт фиксирует предельную стадию отчуждения. Но именно в этой

⁴ Отметим, что в буддизме горный хрусталь – это прежде всего символ ясного, неомрачённого ума, а также чистоты, искренности и способности сознания отражать реальность без искажений, что для поэтики Содоловского оказывается принципиально парадоксальным: его тексты как бы «настраивают» читателя на идеал кристальной прозрачности, но тут же демонстрируют, что современное сознание рискует практически полностью утратить эту способность – оно функционирует как замутнённая, фрагментированная оптическая среда, где отражение реальности неизбежно искажено сетками капиталистических кодов, биополитических режимов и постаффективных перегрузок. Иными словами, горный хрусталь в этой логике превращается в негативную утопию: символ того, чего уже не может себе позволить субъект, чья оптика необратимо отформатирована репрессивными аппаратами.

«пасмурной кривой» (с. 206), сквозь сдавленный шепот и боль («касание – это боль» (с. 205)), автор обнажает саму суть механизированного существования. Признавая, что «мир вне вещей», где «чудо стало мигренью разума» (с. 177), мучительно хрупок, а человеческий голос готов в любую секунду превратиться в «слёзы, оставленные кропотливой работой» (с. 210), Содоловский, делая первый и самый необходимый шаг к радикальной демистификации реальности, обнажает саму суть отчужденного существования, тем самым совершая попытку преодоления этого онтологического паралича и, возможно, возвращению утраченной субъектности.